

❖ Рассказы и очерки ❖

Александр
Богатырев

У БОГА И ПОЛЫНЬ СЛАДКА



Александр Богатырев

У Бога и полынь сладка (сборник)

«Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви»

2019

УДК 271.2+82-32
ББК 86.372

Богатырев А. В.

У Бога и полынь сладка (сборник) / А. В. Богатырев —
«Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры Русской Православной Церкви», 2019

ISBN 978-5-7789-0319-7

Новый сборник прозы писателя, публициста и кинорежиссера Александра Богатырева знакомит нас с новыми героями, показывает их судьбы, раскрывает переживания. Старые и молодые, живущие в России или за границей, счастливые и несчастные, прошлое и настоящее – все и всё интересно автору, а в силу его многостороннего дарования становится интересно и его читателям. О ком бы автор ни рассказывал, всегда следует явный или подразумеваемый вывод: главное дело человека, живущего на земле, – его забота о спасении души.

УДК 271.2+82-32
ББК 86.372

ISBN 978-5-7789-0319-7

© Богатырев А. В., 2019
© Московское Троицкое Подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Русской Православной Церкви, 2019

Содержание

Предисловие	6
Рассказы	7
Федоровы деньги	7
Бедный Славик	28
Панечка	30
Крестники	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Богатырев

У Бога и полынь сладка:

Рассказы и очерки

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС
Р18-814-0497*



Предисловие

Давно знаю Александра Богатырева, радуюсь за его многостороннюю одаренность. Прекрасный сценарист, режиссер, он еще и замечательный писатель. От традиций русской классики он унаследовал главную ее мысль – спасение человека в его вере. Вере в Бога, прежде всего. И отсюда производные: любовь к Отечеству, сострадание и милосердие. И предыдущие его книги «Ведро незабудок», «Чудо – дело тихое» и та, что вы держите в руках, – все о нашей любимой России, ее людях.

Богатырев обладает уникальным даром располагать к себе сердца и души людей. Сколько судеб открылось ему в жизни и сколько их пришло на страницы его книг! Старые и молодые, плохие и хорошие, здесь живущие или за границей, счастливые и несчастные, прошлое и настоящее – все и всё интересно ему, а в силу его дарования, становится интересно и нам. И о ком бы он ни рассказывал, всегда следует явный или подразумеваемый вывод: главное дело человека, живущего на земле, – его забота о спасении души.

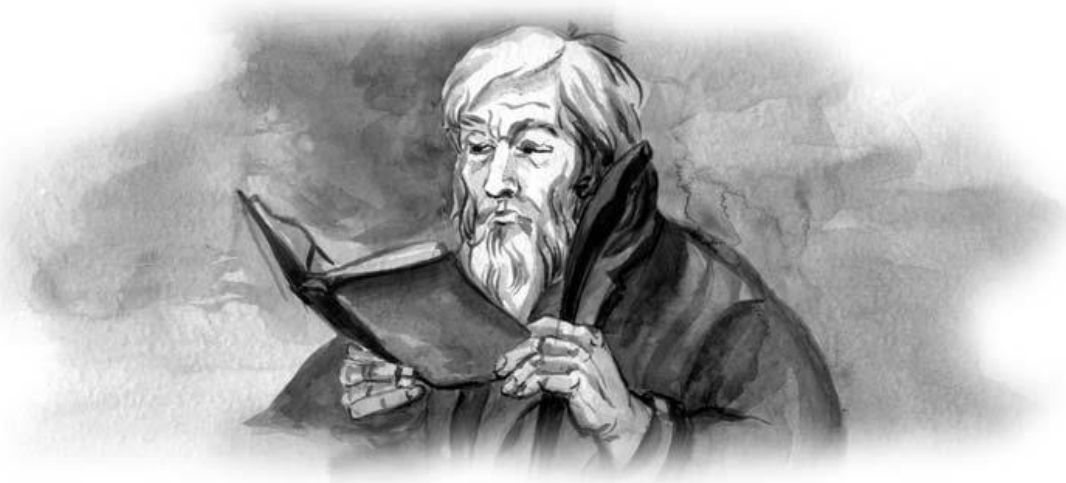
Читая, теряешь ощущение страниц и строчек. Они уступают место живым картинам описываемой жизни. Видимо, это от кино. Это, конечно, огромное достоинство прозы – ее, если можно так выразиться, зрелищность. Мы и сами становимся душевно богаче, когда узнаем новых героев, их судьбы, переживания. А таковые в книге Александра Богатырева – в каждом рассказе.

Эта книга нам как друг и спутник на жизненном пути.

Владимир Крупин

Рассказы

Федоровы деньги



Дед Федор, церковный сторож восьмидесяти пяти лет отроду, живет тихо в маленькой сторожке. Никто его и не видит по зиме. Выйдет в сарай дров взять, да и назад. Иногда тукнет топором раз-другой, раскалывая толстую дровину, – вот и весь звук, и снова тишина.

Как он живет в своей избенке в одно оконце – никто не знает. А если бы кто заглянул к нему в четыре часа утра, то увидел бы, как зажигается тусклый свет в запорошенном окне. С полчаса в сторожке никакого признака человеческого пребывания, потом слышится громкое копошение, перемежающееся хриплыми охами, а потом уж недолгое шарканье в два-три шага до порога. Слышится скрип открываемой внутренней, в сени, двери, два шарка в сенях и стук наружной двери. После чего на крыльце показывается высокая сгорбленная фигура.

В левой руке у деда Федора лопата. Ступая с крыльца, он опирается на нее. Сделав по свежему снегу три шага до дорожки, ведущей от ворот с калиткой до храма, дед Федор по-военному разворачивается кругом. Даже пятками валенок прихлопывает, а лопатой выписывает в воздухе непростую фигуру, что-то вроде ружейного артикула «на плечо!» и «к ноге!».

Дорожку очищает он так: сначала к храму, затем обратно до калитки, а потом уж разгребает свой двухаршинный «хвост» от дорожки до сторожки. Работает он медленно, не разгибаясь, а дело идет быстро, будто само по себе делается. На часах еще и пяти нет, а у него уже и снег убран, и паперть обметена. И не важно, будет служба или нет, много снега выпало или мало. А если совсем за ночь не нападало, все равно побредет с веником мести крыльцо – такое у деда Федора трудовое правило.

Летом он дорожку не подметает. Нравятся ему и сосновые хвоинки, и пучки сухой травы, и всякая лесная шелуха на плотно утоптанной земле. «Чего лес мести?!» – огрызнется он недовольно на замечание чистоплотной свечницы Агафьи. Той дай волю, так она бы домоткаными дорожками всю землю выстлала.

А вот если попадется окурочек, конфетная обертка или газеты клочок, тут старому сторожу напоминать не надо. Далеко увидит, добредет и поднимет.

Летом в его хозяйстве сору немало, особенно в кладбищенской части, между старых могил. Более полувека тут никого не хоронят. Памятников осталось мало. Все давнишние,

мраморные да из гранита. Кресты на них сбиты. Большинство дорогих памятников и плит давно растащили. Деревянные кресты либо сгнили, либо лежат на могилах трухлявыми остатками. Остались одни могильные холмики, на которых как только сходит снег, усаживаются, словно грачи на пашне, местные мужики. Сидят, вино попивают. Когда тихо, а когда рассорятся; иной раз и до драки дойдет. Если службы нет, Федор с ними не связывается, но если во время службы загалдят, умирят их бесстрашно (пьяницы и побить могут). Но не было случая, чтобы не угомонились. К вечеру от этих гулянок остается на могилах яичная шелуха, рыбы головы да серебристые ошметки от плавленных сырков. Все это Федор подбирает вместе с пустыми бутылками.

Злые языки говорят, что навару ему от сдачи бутылок – на многие сотни. Разговоров у пьяниц о его деньгах много, некоторые буйные головы вслух мечтают пошерстить его хозяйство: вспороть матрац да под половицы заглянуть. Ведь не мог он за столько лет не накопить больших денег.

За сторожевую службу ему положили шестьдесят целковых, хата даровая. В последнее время наладился дед плести корзины из прутьев и сосновой щепы. Продает их: какие – за три рубля, а те, что побольше, – и за пятерку. Прибыток немалый: плетет много. А бутылки, а сено... О сене особая статья...

Нет, тут, что ни говори, а денег должно быть много. Один скажет: десять тысяч, другой – двадцать. Третий и того больше загнет.

– Главное – он их не тратит. В магазине кроме крупы, хлеба да постного масла, ничего не покупает. А ест, как воробей, – на червонец в месяц. И картошка своя.

– Во-во, еще и картошку государству сдает, – завершит подсчет федоровских денег четвертый. – Нет, ребята, у него не меньше пятидесяти тысяч.

– Он еще и милостыню собирает, – соврет кто-нибудь, уж совсем разгорячившись от арифметики, но такого тут же оборвут. Все знают: Федор никогда никого ни о чем не попросит. Сам даст. Хоть и слывет скупердям, попросишь стакан или хлеба – даст. На закуску еще и банку консервов принесет – чтобы натошак совсем не сдурели. А вот денег на вино не проси – ни за что не даст.

Говорить-то о Федоровых деньгах говорят, но отважиться на разбойное дело не смеют. Многие поминают добром его трех сыновей, погибших на войне, – были лучшими работниками на лесопильном заводе. Помнят и его покойную старуху Прокофьевну, добрейшую душу. После войны городские сиротки стайками вились вокруг нее. И ласку получают, и угощение, какое в доме найдется. Двоих сирот они с дедом, тогда еще крепким и не старым мужиком, усыновили. Помнят земляки богатыря Федора, скорого и на работу и на веселье. Даже не забыли, что пришел с Первой мировой с двумя Георгиями. Всё помнят, только вспоминать недосуг.

Резко оборвал со всеми Федор. Знакомства теперь не водит ни с кем: сам ни к кому не ходит и к себе в сторожку не пускает. Дом свой – двухжирный¹, добротный, на большую семью, им же самим срубленный – отдал многодетной вдове. Только пол-огорода за собой оставил – сажает картошку да морковь с капустой.

* * *

Быстро пролетела жизнь... Дочь его приемная за офицера вышла и где-то по стране колесит. Давно писать перестала, а как уехала, так и не навестила ни разу. К матери приемной ластилась, а вот его боялась. Он после трех похоронок угрюмым стал, тосковал по сыновьям.

¹ *Двужирный (двужилый) дом* – деревянный дом с двумя жилыми этажами, обогреваемыми печами. *Здесь и далее примеч. ред.*

Видно, сиротке с ним плохо было. Ей бы ласки, а он – то в работе, то в запое. После смерти жены пил сорок дней, потом – как отрезало.

А сына своего приемного, Колю, полюбил он крепко. Выбрал его в детском доме за сходство с младшим, Григорием. Ни на час не оставлял его, с собой таскал повсюду, да и дотаскался – мастером сделал по плотницкой части и к вину пристрастил.

Очень он любил тихое сиденье с Колей после работы. Сядут у верстака, только стружки с опилками стряхнут на пол, разольют вино по стаканам, молчком и выпьют. Иной раз не по одной бутылке. Могли так несколько часов молча просидеть. Потом встанут, Федор троекратно поцелует Колю в щеки, пригнет его голову и прижмет к сердцу, да и всплакнет. Никто в целом свете не знал о его ласке – всегда запершись сидели. И Коля его целует. Гладит по голове, целует и «папой» зовет. Так до самой армии, как овечка кроткая, везде за названным отцом хвостиком бегал.

Ну а как из армии пришел – мужик мужиком, воин. И уж ему не до отцовских ласк. Даже стыдиться стал Федора и папой больше не называл. А пил так же часто, но не с Федором, а с друзьями.

Страшно переживал эту перемену Федор, как самое неблагоприятное предательство. И хотя утешал себя: «Что ему, молодому, со стариком якшаться?! У него свои молодые интересы, свои друзья, свои забавы», – свыкнуться с тем, что потерял сына, не мог. Понимал, что и родные дети разлетаются во все концы, но о Коле ему грезилось другое. Любил он его и жалел. И был он для него «сиротинкой на весь свет одинокой». А в сиротстве человек не должен отталкивать того, кто полюбил его как родного сына.

Нет, не было в этом правды. Знал Федор человеческое сердце. Две войны прошел и мирное лихолетье, да такое, что в войну легче было. Всякое видел: и геройские дела, и предательство, и любовь, и злобу людскую. Но тут что-то не складывалось. Не мог ни понять, ни принять Колиной измены... Пробовал он поговорить с ним, но до главного не добивались. То какой-то пьяный рык вместо ответа, то сопенье. Однажды не смог сдержаться – погнал из дому пьяного пасынка, да еще ногой наподдал, чтобы катился подальше. В тот же день Николай магазин взломал. И взял-то лишь бутылку белоголовой. Выпил ее да тут же и уснул на полу в дверях...

Судили его строго. То ли указ какой вышел, то ли местное начальство приказало судьям засудить его, чтобы другим неповадно было, только вина у него вышла по всем статьям, вплоть до подрыва оборонной мощи страны: что-то там от военторга числилось, да после Колиного куража не обнаружилось.

И зажил с тех пор его приемный сын в лагерях. Посидит, выйдет, напьется, начудит – опять на нары. Зла-то особого в нем не прибавилось, только трезвому ему жить стало, как с большого похмелья: ни смысла не видит, ни удовольствия. Дружки его сказывали, что в лагерях ему даже спокойнее, чем на воле. То ли свyksя, то ли порчу на него кто навел. Как стал Федора сторониться – и вправду, будто в нем хворь какая-то угнездилась. После второго выхода на свободу он уже и появляться у Федора не стал.

И вдруг получает Федор письмо: пишет Николай, что за последний кураж дали ему три года, и уж по выходе непременно приедет к нему. Пить он завязал и решил с прошлым покончить: «нельзя больше позорить старика-отца». Так и написал: «отца». И еще: «хочу по-человечески с отцом пожить, чтобы согреть его старость».

Прочитал Федор письмо и неделю ходил как пьяный. Вот и дождался радости. А потом вдруг, словно в прорубь свалился – похолодел весь: «А что если он ластится из корысти, из-за дома да еще из-за чего-нибудь? Дом-то пока на Федоре записан, а вдова так живет, гостьей. Помру – на улице окажется, никто ведь она ему».

С той поры муторно стало Федору. Как тут разобраться? И раньше не понимал он своего Колю, и сейчас. Да и что он о нем знает?.. Чужая душа – потемки. Воистину потемки. Вот и в его душе темно стало от этих мыслей.

Долго терзался Федор. Потом сам себе сказал: «Чего голову и душу надрывать?! И так скоро помру, надоть бы ему чего-нибудь оставить. И Анне-вдове с ребятей тоже надо. Отпишу Коле заднюю горенку, туда и ход можно отдельный прорубить. Ведь не захочет, чтоб его Анна беспокоила. Там и печку сложить можно. Ему одному хватит горенки, остальное – Анне. А если корысть удумал и просто так отца дразнит, то это его грех, мне-то что. Буду думать, что и вправду образумился. Сам уже почти старик. Может же он вспомнить отроческое житье свое со мной да восхотеть его наново?..». Так и порешил Федор и стал деньки считать до Колиного возвращения. Сходил в контору к нотариусу, отписал дом, как надумал, и успокоился.

* * *

Соседи помнили о Федоре всякое. И как пил да гулял, как жену свою кроткую бивал. Та, бывало, и не вскрикнет, чтоб кто ее позору не вызнал. Но да разве от соседского глазу скроешь что?! Всё знали соседи. Как калымил ночами в свои короткие отпуска. Брался за любую работу, ничем не гнушался, потому как и работу любил, и до копейки был жаден. И до того прижимал порою копейку, что и домой на прокорм не давал, и жене выговаривал, что та много на падчерицу тратит. Помнили люди, как ходил он к Матрене на дровяной склад и жилал у нее неделями. Долга соседская память, вот только хранит то, что похуже. Соседи друг с дружкой отсудачили да и перестали о нем вспоминать. А в первое время, когда еще не прошло изумление от его перемены, только и разговоров было, что о нем.

Несколько лет по смерти жены жил он один в своем доме. А когда на окраине, у речных порогов, сгорело сразу пятнадцать домов, пошел на пепелище и вернулся со вдовой-погорелицей да четырьмя ее мальчонками. Видно, выбрал ее из-за имени – женка-то его тоже Анной была. Думали, возьмет за себя по вдовству. Она и крепка, и честна, и мать хорошая, и хозяйка на зависть. Соседи гадали: распишется или так жить станут? Время идет, детишки в окнах мелькают, Анна в огороде старается, а Федор и на глаза не показывается. А потом узнали, что нанялся он, то ли сторожем, то ли дворником в церковь. Чего угодно ждали от него, но только не этого.

Набожным Федор сроду не был, и вдруг – работник при церкви! Правда, после жениной смерти он присмирел: бросил пить, и за усадьбу выходил только в магазин. Думали, отчудит и вернется, будут с Анной по-человечески жить.

Вот только уж больно много ребятни у нее. Как жить с чужими? Старшие двое уже женились и жен в дом привели, и детей наплодили. Трудно будет ему разобраться с Анной, да с детьми ее, да с внуками...

Федор показывался в своем доме по весне, зимой не приходил. Вскопает огород, посадит картошку – и его не видно, пока окучивать пора не придет.

И как понять человека? Любого спроси – каждый скажет: «Скуп Федор». А тут дом с усадьбой отдал! Пока у Анны дети малы были, на всех копал и сажал, а как подросли, отделил себе землю да на себя одного стал огородничать. Долго ждал народ разгадки – в чем его корысть? Может быть, втайне и жил он с Анной? Ему хоть и было под семьдесят, а такого работника и среди сорокалетних не найти.

* * *

Кем только не работал за свою жизнь Федор! И плотничал, и лес валил, и на зверя в море ходил, и за треской на Мурман, и на Грумант² за гусями и гагачьим пухом. Но больше всего

² *Грумант* – поморское название архипелага Шпицберген.

любил Федор косить траву. А косил он необычным манером: замах короткий и с каким-то нырком, да и пятка у косы как-то вихлялась. Со стороны казалось – неумелый косец, а посмотришь – стерня с ноготок от земли. Да такая ровная! Всю поляну обкосит, словно побреет.

С самого детства не было ему равных косцов. Правда, нынче на весь городок один Федор и косит. А и чего косить-то? Лет двадцать тому было у них в округе около тысячи коров, а теперь три, да коз с десятков, да овец не более. Уж и разрешили держать, а не бросился народ.

Но и с покосами беда. Пустыри все давно застроили пятиэтажками, набережную бетоном залили. В парке хоть и не гуляет никто, а косить не велят. Да и не пойдешь в парк косить – далеко больно, и ноги не те. Только и осталось у Федора угодий гектаров пять: на кладбище, подле церкви полянка, за алтарной частью лоскуток, полоска до аэродрома, да и сам аэродром по краям полосы. Самолеты стали летать редко, осталось два маршрута для «кукурузников». Коси сколько хочешь – никому не помеха.

Сначала он обкашивал могильные холмики, потом поляну, а дальше – тюкал помаленьку до аэродрома. Пока аэродром обкосит, на кладбище уж снова трава поднимется. Так три раза за лето и обойдет свои покосы. Сена наматывал стога десять. Два отдавал старухам, остальные продавал молодым хозяйкам по пятидесяти рублей за стог.

* * *

Утром девятнадцатого июня проснулся Федор с тяжелым сердцем. Ночью долго не мог уснуть, а когда, наконец, задремал, в зыбком, тонком сне увидел покойницу-жену. Она плакала и укоряла его за то, что сгубил он Николушку. Что-то жалостное и непонятное говорила о себе.

Сон был цветной. Стояла она на зеленой лужайке, покрытой желтыми цветами. За спиной ее ярко светило солнце – ярче настоящего, но смотреть на него было не больно. Только Федору отчего-то стало страшно. Сердце заныло, совесть заговорила в нем, будто зверь какой изнутри стал грызть. Он стал смотреть на солнце, и «зверь» отпустил. Сердце наполнила радость, а Анна заплакала: не слушает он ее жалоб. Смотрит на него с тоской и грустью, и взгляд ее такой родной и знакомый. Вдохнула Анна каким-то долгим вздохом. Федор испугался – так человеку и вздыхать нельзя, уж больно долго, никакого духу не хватит. Анна закончила вздох, поглядела на него с жалостью, да и говорит: «Все бы тебе, дураку, веселиться». Федор обиделся и проснулся.

– Отчего же – дурак? – проворчал он. – И какое тут веселье?! – Он с трудом приподнялся, опустил на пол ноги, попав в расхлябанные валенки со срезанными голяшками. – Выдумает всякое. Давно без веселья живу. А вот про Колю верно – моя вина...

Долго не мог успокоиться Федор. И чай пил без удовольствия, и молитвенное правило утреннее прочел без внимания, отчего еще больше расстроился, а потом и придумать не мог, чем бы тревогу заглушить. Вспомнил, что через день у него именины. Батюшка обещал службу отслужить, хоть и не воскресный день был на Федора Стратилата. Агафья-свечница угощенье задаст... Ох, надо бы подготовиться, как должно...

Федор вышел на крыльцо, перекрестился на храм, поглядел на сумрачное небо, на качающиеся под сильным ветром верхушки сосен, на гомонящих грачей. Было сыро и холодно.

– Никак нет лета, – вздохнул Федор. – Косить уж скоро, а погоды нет. И трава мала, да и сохнуть по мокрому не станет...

Он вытащил косу, стукнул по лезвию несколько раз молотком, хотя и не было никакой нужды – коса была отбита хорошо. Зайдя за сторожку, Федор в несколько взмахов уложил островок крапивы со сниткой, сел на бревно и стал смотреть на шмеля, сердито гудевшего над желтым цветком одуванчика.

С аэродрома донесся гул мотора. Несколько раз грозно взревел и затих. «Не полетит, – подумал Федор. – И куда по такому шелонику³лететь?..». Он поддал носком сапога срезанную траву. «Супу что ли сварить с крапивы?».

В это время его позвала Агафья. Он слышал ее шаги и стук в дверь. Отвечать не хотелось. Он подумал отсидеться за сторожкой, пока не уйдет. «Взор, поди, какой обмалакивать станет. Что изготовить на именины, спросит... или еще что пустое...».

Но Агафья снова позвала его громко и даже сердито. «Видно, случилось что», – подумал Федор и отозвался.

– Да ступай скорее, батюшка кличет. Открывай храм, дароносица нужна, – говорила она скоро и тревожно.

– Почто? – спросил Федор, и кряхтя поднялся с бревна.

– Маланья воскресла. За батюшкой прислала, приобщиться просит.

– Как воскресла?! – рассердился Федор. – Что языком хлябать – знать, не померла.

– Померла. Ввечеру померла в больнице. А утром проснулась.

– Коль проснулась, какая смерть?

– Говорят тебе, померла. Врач сказал: смерть была. Особая – клуническа, иль как – не знаю. Говорят, с нее, бывает, отходят.

– Не знаю такой. С того света не вертаются.

– Да Маланья сроду непоседой была. Видно, не усидела там, отпросилась. Или не приняли без исповеди.

– Отпросилась... Клянчить она горазда! Что хошь выпросит, – проворчал Федор.

Он взял ключи, они поспешили к церкви, где их ждал отец Игнатий. Федор открыл ризницу, снарядил батюшку. Отец Игнатий был встревожен не меньше Агафьи. Та балаболила без умолку, просила объяснить, что это за «ненастоящая» смерть, от которой просыпаются. Батюшка сказал, что называется она «клинической» по-научному.

– Если проснулась, значит, еще не совсем конец, – сказал он и скорым шагом припустил вниз по тропе. Приказал ждать его часа через два.

– Это понятно, что еще не конец, – сказал Федор и побрел в сторожку укрыться от Агафьиного беспокойства. Та, видно, решила, что до батюшкиного возвращения Федор побудет с ней, и наладилась рассказывать о смертях своих кумовьев да сродников. Федор, не глядя на нее, буркнул «прости» и побрел к себе. В сторожку Агафье ходу не было – только там он и мог посидеть в тишине.

Жилье свое Федор любил. Все, что нужно, под рукой. Справа от двери стояла узкая железная койка. В углу две иконы: Богоматерь Феодоровская и Федор Стратилат. Под ними – всегда зажженная лампада. Во всю противоположную стену – печь и широкая лавка. Между койкой и лавкой – стол под маленьким оконцем. На правой половине стола – книги и три тетради. В тетрадях он делал выписки наиболее понравившихся ему мыслей из Евангелия и книг святых отцов. На левой, «трапезной», половине стола – берестяная, им самим сделанная, хлебница да никогда не убиравшаяся посуда: глубокая миска, алюминиевые кружка, ложка и вилка. Слева от двери – три гвоздя с висевшими на них фуфайкой, старым пиджаком и льняным полотенцем. Под лавкой – два ведра с водой и чемодан из фанеры с рубашками да бельем. У стола – табурет. Вот и все хозяйство. Держал он его в чистоте. Пол мыл каждую неделю, а подметал по два раза на дню. Были в его избушке и маленькие сени. Там он держал инструмент и сосновые чурки.

Отвязавшись от Агафьи, он занес в горницу (так он называл свою комнатенку) две чурки и стал откалывать большим ножом щепу. Потом принялся ладить из щепы корзину.

³ Шелоник – юго-западный ветер, дующий из устья реки Шелонь на Ильменском озере.

Разные мысли лезли в голову. То о Николае подумает, то о жене. Вспомнил и мать свою, и отца, умершего, когда ему не было и семи лет. Вспомнил и сыновей своих. Сначала взрослых парней, а потом – когда были они малышами голопузыми. Как провожал их на фронт. Первенца своего вспомнил – Ивана. Как не знал он, что с ним делать, и радовался, и стеснялся чего-то, и как не мог усидеть дома и подался на все лето на Мурман на промысел...

И вдруг вспомнил толстого англичанина – капитана лесовоза. Ясно всплыло из полувекowego забвения гордое лицо с надменным взглядом. Длинный тонкий нос, рыжие густые бакенбарды и короткая трубка, пыхавшая терпким до одури табачным духом.

Мужики грузили английскую баржу лесом, а их жены отвозили с баржи на берег на лодках гвозди. Время было голодное, англичане знали это – стали бросать нашим бабам в лодки орехи, шоколад, конфеты. Даже котелки с супом спустили и жестянку с ветчиной. Бабы не удержались – набросились на еду. Едят, стыда не зная, да хвалят английских моряков, пока мужики не оттащили их да не всыпали им на глазах у команды. Те загалдели, глазами зыркают, а капитан их ноздри раздул, кричит: «Дикарь, не смет бит женщина!».

Тут Федор и прыгнул на борт, хотел за «дикаря» поучить басурманина. Мужики еле оттащили его... Слава Богу, никто не настучал, а то загремел бы Федор в тюрьму за подрыв международного сотрудничества. Позже он узнал, что бригадир хотел донести на него, да испугался, что накажут всю бригаду и его самого в первую очередь за то, что не доглядел и допустил конфликт.

Дома Федор отыгрался на жене за обиду. Потом уж пожалел. Да и как бабам удержаться было с голодухи?! Да еще такое угощенье. Они про шоколад с царского времени не слыхали. А мужикам тогда очень оскорбительным показалось, что их жены на заморское без гордости набросились...

Потом замелькали новые лица. Знакомые и давно забытые. Грозно взглянул на него инспектор Бдонин, который хотел посадить его за семгу. Даже жаром обдало. Он вспомнил, как Бдонин забирал у него новую сеть и грозился отправить его в сибирские дали. Больно хлестнула обида на бригадира Рябова, крепко обсчитавшего его после сезонного лова. Думал, бригада заступится, но никто не стал начальнику перечить. Дико ему было видеть, как сломался помор, попуская неправду. Хотя и поморов было на тот сезон у них не более трети.

И всё лезли из глубин памяти старые обиды. Он старался отогнать их, но они продолжали вылезать. Сколько лет прошло! Все давно забыто, а нет: тревога росла, и уже работа не могла отвлечь от нее.

Федор отложил корзинное донце, встал на колени и закрыл глаза. Он перекрестился, но молитва не шла – не мог вспомнить ни одной. Голова гудела, сердце билось тяжело и неровно. И вдруг он подумал, что все это неспроста: и жена приходила во сне, и ее укоры за Колю, и старые обиды...

«Неужто конец?!»... Что-то липкое заливало голову. Он тряхнул головой, оперся одной рукой о кровать, другой о табурет и тяжело поднялся. Переступив вялыми ногами порог, качнулся всем телом, падая на наружную дверь, но в последний момент удержался. Свежий сосновый воздух ворвался в грудь. Ему показалось, что он не дышит, а грудь сама распахнула какие-то створки. Больно резанула прохлада, и вдруг полегчало, будто горящую одежду скинул с себя. Он медленно вздохнул, и, держась за дверной косяк, опустился, сел на ступеньку, опершись спиной о раскрытую дверь. В голове у него посветлело, приятное кружение уносило липкую пелену.

Сердце неровно подрагивало. Федор силился понять: в голове или в сердце поселилась какая-то новая мысль. А может, не мысль, а знание чего-то верного, что произойдет с ним? Стоило лишь немного напрячься, и стало бы ясно, что это. И он напрягался. Что-то подобное произошло утром, когда просыпался. Но лишь скользнуло и ушло. А всплыли забытые обиды. И вдруг он понял, в чем дело, и сам себе тихо сказал, словно изнутри диктор по радио: «Я

помру. Скоро. Может, сей момент. Надо бы успеть покаяться. Вот и обиды... Так то ж другие сотворили, а надо свое вспомнить и осудить». И от этого знания ему стало легко. Так вот почему всякая чушь в голову лезла!

А вспоминать надо: как других обижал, как жену в гроб свел, как Колю испортил вином, как с чужими женами жил... Да мало ли что натворил! Федор приготовился вспоминать, но в голове, словно кто лампочку загасил, освещавшую темную кладовку с залежами собственного окаянства.

Он сидел, часто моргая и напряженно шмыгая носом. Напрягался так, что сперло дыхание, но вспомнить не мог ничего кроме птичьего взмаха безвольных пьяных рук падающего от его пинка Николая...

На минуту выглянуло солнце. Слабой искоркой блеснула на тропе крупная песчинка. Черный грач заводной игрушкой подскочил к самым ногам Федора и, склонив головку, посмотрел на него круглым лукавым глазом. Федор плюнул на птицу и отвернулся.

* * *

Когда вернулся отец Игнатий, Федор уже без особого труда добрал до храма. Ему хотелось расспросить про Маланью, но язык не поворачивался. Агафья куда-то запропастилась. Батюшка молчал и, видимо, хотел поскорее уйти, пока та не вернулась. Запирая храм, Федор все же отважился и спросил:

– Жива-то?

Батюшка молча кивнул головой.

– Надо бы и мне исповедаться, – сказал Федор и не договорил, отец Игнатий упредил его:

– Послезавтра. Готовься.

Он простился со сторожем и зашагал не к калитке, а в дальний угол кладбища, где был широкий разлом в ограде. Федор смотрел ему вслед и думал, что надо остановить его и упростить исповедать его прямо сейчас, не откладывая. «Доживу ли я до послезавтра?..». Он смотрел на удаляющуюся спину священника, а видел какое-то сизое дерево, качающееся и расплывающееся вдоль ограды.

Через минуту прибежала Агафья. Стала заполонено рассказывать о том, как ее не пустили в больницу, что Маланья слаба и помрет непременно. Федор слушал, силясь понять, отчего ей так весело. Но Агафья вдруг высморкалась и зарыдала. Федор мазнул ее шершавой ладонью по спине: «Ну-ну, женка». Хотел еще сказать что-то утешительное, но не собрался и медленно побрел к себе.

Он сварил себе супу из крапивы и снитки, нехотя похлебал горькое варево, ковырнул в банке «Частик в томатном соусе», но есть не стал. Выпил чаю с ржаным сухарем и лег на кровать.

Болели ноги, сухо жгло в животе, ломило поясницу, но он приказал себе о болях не думать. Закрыв глаза и попытался уснуть, но сон не шел. Мелькали перед внутренним взором лица родных и давно позабытых людей, какие-то дома, деревья. Била по воде огромная семга, громко хрипела подстреленная им белуха, затарахтел мотор, угрюмо, с укоризной глядели на него глаза Николая. «Эх, Коля-Коля, – вздохнул Федор. – Как же быть, коли помру и не свидимся. Письмо б написал тебе, да не горазд я. Да и чего писать? Был бы рядом, попросил бы простить да слова бы путные нашел... А то и не нашел бы. Горазды мы друг дружку учить, а сами-то по-человечески и прожить не можем. Сам-то прожил свиньей. И зачем мне такой срок дан? Восемьдесят пять годов – шутка ли! Во всем районе – только бабки-сверстницы, да и тех немного. Мои-то дружки – уж десять годов, как последнего проводил на тот свет. И почто дольше всех небо коптю. Однако, родила ж меня мать, на добро наставила... Ох, тяжело помирать, страшно. Дело небывалое... Бедный человек, однако. В молодости от блуда да вся-

ких страстей не знаешь, куда деваться, а в старости – одни болезни. А может, еще потяну до Колькиного возврата? Может, померещилось, мало ли чего не бывает. Может, предчувствие, а, может, наваждение какое... Срок никому не ведом. Надо и помыслы таковые гнать, дальше жить, Колю ждать. Сказано: *задняя забывай, вперед стремись*⁴».

Федор привстал с кровати, прислонился спиной к стене. От резкого движения в глазах поплыли сиреневые круги. Он прерывисто вздохнул и поскреб в затылке: «Ишь, чешется – либо битым быть, либо облают крепко. Искушение... А ведь наладился дело делать...».

Федор поднял недоделанную корзину, повертел ее, отложил к стенке и вспомнил, что кончилась щепы. Он неожиданно легко поднялся и вышел наружу. Сосновые чурки лежали в сарае отдельной поленицей. Он выбрал три подходящие и решил больше не брать, чтобы не захламлять избу.

Выйдя из сарая, он увидел человека с походной заплечной сумкой. Тот кланялся ему и молча подходил ближе. Федор сощурил глаза, пытаясь разглядеть незнакомца.

– Не узнаю, – сказал он. – Чего накланиваешься?

Человек поздоровался и стал извиняться, долго объяснял что-то. Федор слушал, но никак не мог понять, чего тот хочет.

– Не возьму в толк, надоть-то чего? – спросил он недовольно.

– Мне бы кипяточку. Не волнуйтесь, заварка у меня есть. С утра голова болит, а чаю негде выпить. У меня, как с утра не выпью крепкого чаю, голова болит. Может, позвольте кипяточку... да компанию составите? У меня и пироги есть домашние, и печенье...

– Погоди, – прервал его Федор. – Тебе чаю што ль сварить?

– Ну да. Собственно, не чаю, а только кипятку, заварка у меня своя. В аэропорту нет буфета.

Федор с минуту помолчал.

– Где ты там аэропорт увидел? Изба, и та гнилая.

Очень уж некстати был этот человек. Да и как ему чай сделать? Вскипятить и занести? Так у него и кружки нет. И оставлять на дворе неловко. Своих-то он никого к себе не пускал. Да никто и не стремился, знали его закон. А как быть с приезжим человеком? Странноприим-ство оказывать должен, придется в дом пустить.

– А в чем проблема? – удивился гость. – Воды нет? Так я схожу. Печку растопить?

Федор кашлянул и коротко ответил:

– Не то.

– Что не то? – не понял гость.

– У меня чайник электрический. Давай, заходи...

Он открыл дверь и впустил гостя вперед. Тот недоуменно пожал плечами и переступил через порог.

Пока Федор наливал в чайник воду, вставлял расшатанную вилку в розетку, гость выкладывал из сумки на стол припасы, рассказывая про то, как не отважился идти просить в пятиэтажки, а пошел наудачу к частным домам через кладбище, да по дороге к нему первому и обратился.

Федор смахнул со стола на пол пролитую воду и сел на кровать.

– Садись, пригласил он. – Хошь на лавку, хошь рядом со мной, а то – вон табурет.

Гость сел на скамью и улыбнулся.

– Погода нелетная, отложили до утра.

– Да, дует крепко. Куда – лететь?!

Гость подумал, что его спрашивают, куда он летит, и стал рассказывать, кто он, куда и зачем летит и что дня через два-три вернется и полетит обратно домой в Молдавию.

⁴ Ср.: Флп. 3, 13.

– Далеко тебя занесло, – кивнул Федор. – Как, говоришь, тебя зовут-то?

– Дмитрий.

– А годков тебе сколько? – спросил Федор скорее для порядка, чем из интереса. Коль впустил, неудобно пнем сидеть, надо и разговор поддерживать.

– Двадцать пять, – охотно ответил Дмитрий. – Это моя первая командировка. Понимаете, и наши пишут, что много они заколачивают. И от ваших было письмо – всё недовольны. Шутка ли – за сезон по семь тысяч привозят!

– Ты про что? – не понял Федор.

– Я вам объясняю: наши из Молдавии строят в этом колхозе клуб. В прошлом году построили коровник. Заработали по пять и по семь тысяч. Поступили жалобы, вот я и еду разбирать на месте.

– А-а-а, – протянул Федор, – ты, значит, по этот части...

Он шмыгнул носом, нахмурился и замолчал. Милицию и всяких инспекторов Федор не жаловал. Дмитрий заметил реакцию хозяина и смутился. Он что-то хотел объяснить, но запнулся и тоже замолчал. Так они просидели минуты две. Слышно было, как хрипело у Федора в груди. Тихо зашумел чайник.

– Закипел, – нарушил молчание Дмитрий.

Федор не ответил.

– А почему вы замолчали? Я вас обидел? – виновато спросил гость.

– Чем обидел? – буркнул Федор. – Я гомонить не горазд. Чего рот открытым держать?! В избе, вот, дверь отворить – изба и выстудится.

– Вы замолчали, когда узнали, что я еду с инспекцией.

– Полно толковать, – отрезал Федор. – Я свое отговорил. А хочешь знать мое слово, так знай: нету порядку ни в чем. Разве это дело? Заезжие тысячи получают, а своим заработать не дают. Что, наши мужики хуже ваших дом срубят?

– Такой закон, – сказал Дмитрий и сочувственно посмотрел на Федора. – Местные получают свою зарплату, а дополнительных договоров заключать с ними нельзя. – Федор махнул рукой и поднял крышку чайника. Легкое облачко пара вырвалось наружу. Из носика чайника выплыло плотное кольцо, а за ним тонкая струя пара.

– Готов, – сказал Федор и вытащил из ящика стола заварной чайник, старую фаянсовую чашку и латунную, со многими зарубками ложку.

– Заваривай, пей, а мне надоть выйти...

Он медленно побрел к церкви, ругая себя за то, что ввязался в разговор. «Надо же было подвернуться этому парню...».

Он остановился у паперти. На ближних могилах уже заседали три группы. Услыхав шаги, пьяницы стали прятать бутылку, но, увидев сторожа, успокоились и продолжили разливать.

– Со своими нынче стаканами ходят, – удивился Федор. – Даже пьяницам теперь не нужен. Вот, ведь, и податься некуда.

Он повернул назад и вдруг подумал, что зря осердился на парня. «Тот смирный и вежливый. Да и чего законы облаивать. Не нами писаны – не нам и менять. Да и все, видать, для русского человека ко спасению устроено. Большие деньги – большие соблазны. Только балует народ, да не знает, как себя утешить с ними, погаными. В них ли радость?...». Он вспомнил о своей прежней страсти к деньгам и решил: «Безотменно надоть с парнем поласковой». И вдруг ему пришла на ум поразившая его мысль: «А что если он с инспекцией к Коле когда поедет?! Да мало ли что, возьмут и пошлют. Кто их, инспекторов, знает?! К нам же заслали. Надо бы потолковать с ним. Он, вон, молод. Краснеет – знать, не закаменела душа».

Когда Федор вернулся в сторожку, гость раскладывал на бумаге бутерброды с колбасой и сыром, половину макового рулета и домашнее печенье разной формы: сердечком, ромбом, плетеной косичкой.

– Это вам, – сказал Дмитрий и стал наливать хозяину чай в вымытую чашку.

– Эт ты с собой бери, в дороге сгодится. Вишь, какие у нас тут рестораны. А мне сие не по зубам, разве что полбулки оставь.

Дмитрий стал уговаривать взять все, но Федор решительно отказался.

– Ты, вот, на меня не серчай. Я о своем печалюсь, а на тебя чего мне серчать? Ты человек государственный, при исполнении. Если хочешь, оставайся тут, до утра коротай. Гостиница у нас малая, сплошь занята морскими людьми. Так что смотри... Тебе кровать, а я на лавке лягу.

Дмитрий стал отказываться. Сказал, что попробует счастья в гостинице, хотя ему интересно было бы со старым человеком поговорить.

– А мне что говорить?! Такое скажу, пустое... или недовольствоваться будешь. У меня толк особой, я по-своему разумею о всем. Тебе и интересу не будет, у тебя жизнь своя.

Но Дмитрий поблагодарил за приглашение и объявил, что остается, только попросил разрешения ночевать на лавке.

– Это ты зря. Тебе сон нужен, а я нынче почти без сна живу. Да и отосплюсь вволю, мне вскорости долгой сон предстоит.

Но Дмитрий объявил, что ляжет на лавке, и тут же лег на нее, примериваясь.

– Отличное ложе. Сон у меня нормальный, я и на полу могу лечь.

Федор перестал перечить и подумал: «Чего это я оставляю его? Лучше бы шел себе, только хлопот да разговоров с ним. Молчать получше бы было... Надобно нынче мне молча пожить». Но вслух не сказал ничего. «Что это? Корысть? Надежда на то, что этот человек поможет отыскать Николая? Ну а найдет – не он же Колю увидит. А этому человеку и дела-то до Коли нет. И что он ему скажет? Видел, мол, твоего отца... Ну и что? Мало ли кто меня видел. Э, пустое все. А может, мне просто страшно оставаться одному? И чего страшиться, давно своего часа жду. Не уйти от него. Надо бы одному остаться, подготовиться чтобы достойно... А вдруг неспроста он мне послан? Ведь никто за семнадцать лет не бывал в моей келье... Знать, неспроста. Бывает ведь под видом путника и явится кто. Всяко бывает».

Федор посмотрел на своего гостя внимательно: глаза светлые, добрые, сам молодой и гладкий. «Врет, поди, что начальник», – подумал Федор и твердо решил, что этот путник не простой. Пока он рассматривал гостя, тот рассказывал ему о себе, стараясь развеять подозрительность хозяина.

Видно, ему нужно было объяснить что-то важное и для самого себя, и для этого старика, с которым свела его судьба. Он видел, как того задело известие о цели его командировки. Люди боятся всяких проверок, ведь после них и под суд отдают. Он и сам чувствовал себя неуверенно: какой из него начальник... После юридического факультета он по распределению попал на службу. Он, будто бы оправдываясь, начал рассказывать этому угрюмому старому человеку о своей мечте – бескорыстно служить Отечеству, пока не исчезнут нечестные люди, пока не отпадет нужда в наказании и контроле, пока все не станут счастливыми, с чистыми душами, пока... пока не перестанут на могилах водку пить! «Вот она – любовь к отеческим гробам, о которой говорил Пушкин»... Дмитрий говорил горячо, словно старался убедить себя в своей правоте.

Федор слушал его, мало понимая смысл того, о чем тот говорит и почему так горячится: «Пушкин-то что худого для инспектора сотворил?..». И вдруг что-то дрогнуло в его сердце. «Вот бы так Николушка посидел со мной да потолковал о своей мечте. И о чем он мечтает? А у него, старого, что за мечта? Да и чего мечтать...». Он безнадежно вздохнул. Дмитрий запнулся и удивленно посмотрел на него – по щекам старика текли слезы.

– Это я так, о своем, – вздохнул Федор. – Хороший ты человек... Только возможно ли это? Куда же они подеваются, нечестные?

– Исчезнут, – убежденно ответил Дмитрий. – Мы так организуем жизнь, что им не будет места.

– Дай Бог, – вздохнул Федор.

– А почему вы не верите этому?

– Да я ведь без малого девять десятков землю топчу. Вон как ноги распухли. Всякое видел...

Федор задумался: «Говорить ли? Пусть помечтает. Что мне его берeditь, чего душу чужую мутить. Пусть себе...».

– Ну скажите, – настаивал Дмитрий.

– Эх, – вздохнул Федор. – Да как ее, жизнь-то, организуешь? Нешто это ручей? Его пере-
кроешь – он через край польется, коли дырку не провертеть... Вор-то не должность такая, чтоб
под начальством ходить да приказа ждать. Ты ему как дорогу ни загораживай, какой закон ни
придумай – свою хитрость найдет, чтоб обойти его. Потому как вор. Это ведь сердце, душа у
него воровская. Душу надо лечить, а не ловушки на вора ладить. Чем ловчее ловушка, тем вор
искусней. Карманников переловишь, – начальство заворует. Да оно и так ворует. Плох человек,
больна у него совесть, как его от воровства удержишь?

– Что же вы предлагаете?

– Ничего я, паря, не предлагаю. Не нами свет заведен – не нам его и переделывать. Я
так... Сказал, что на ум взбрело. Может, у тебя какой секрет найден, так я за тебя порадуюсь.

Дмитрий беспокойно передвинулся по лавке.

– Но ведь надо же что-то делать. Распустился народ, все-все тащат.

– Долго в скудости жили. То одно, то другое, то раскулачили, то война. А и то подумать:
много ли надо? Подумаешь – так ничего и не надо. Обуты, одеты, не голодаем...

Дмитрий покачал головой.

– Логика у вас странная. Так рассуждать – сидели бы в каменном веке.

– Зачем?

– Ну а как же? Если человеку ничего не нужно, и сидел бы он себе на печи, ни в космос
бы не полетели, ни открытий научных не сделали.

Федор вздохнул и еще раз пожалел, что заговорил.

– Разве не так? – настаивал Дмитрий.

– Может, и так, – Федор ткнул себя в грудь и выпалил. – Вот он, космос. Сюда бы почаще
летать, вот где порядку нет.

– Я об одном, а вы о другом, – Дмитрий покачал головой. – Все одно... Да ведь все нужно.
Можно и мир познавать, и себя совершенствовать.

– Можно и потерять...

– Так нельзя этого допустить! – чуть не закричал Дмитрий.

– Нельзя, – кивнул Федор.

– Значит, мы понимаем друг друга?

– Кто его знает, – вздохнул Федор. – Я, вон, себя понять не могу, а тебя как мне понять?
Вижу, душа у тебя копошится, ответов ищет. Только там ли они?

– А где же?

– Каждому свой путь, – уклончиво ответил Федор.

– А все же? Вы свой нашли?

– Не ведомо мне. Коль столь годов хожу – значит своим путем, на чужой не заступил.

Федору показалось, что со стены над печкой смотрят на него с фотографий жена с Нико-
лаем, но никаких фотографий там не было.

– А коли заступал на чужой путь, то ломал тех, кто по нему шел, – тихо добавил он. –
За что и ответ собираюсь держать.

– Я не понимаю вас. Вы что-то говорите и не договариваете, – взволнованно проговорил
Дмитрий. – Знаете, случайные беседы бывают очень полезны. Однажды я говорил с одним
человеком о войне. Он рассказывал совсем не так, как в кино и книгах. Ничего особенного,

очень просто, откровенно и очень по-доброму и по-человечески. Совсем непривычно. И я много понял...

– Я, может, скоро помру, – прервал его Федор.

– Ну что вы...

– А то. Помру я. А ни ума не набрался, ни долгов своих не отдал. Ты вот, чужие доходы судить собираешься, а я со своими не рассчитался, вот что страшно. Такая, вот, бухгалтерия.

Они оба замолкли. Слышно было, как скрипели под сильным ветром сосны. Надорванный кусок толя хлопал по крыше сарая. Кто-то пробежал по дорожке, топая и тяжело дыша. Раздался чей-то пьяный вскрик. Сильный порыв ветра налетел с завыванием и глухим свистом. Неожиданно погасла лампада – за разговором Федор забыл подлить масла. Дело несложное, налить масла да зажечь фитиль, но Федор сильно огорчился. Ватный жгутик прогорел до основания, и он принялся негнущимися пальцами скручивать новый, думая о том, что непременно нужно спровадить гостя и прочитать вечернее правило. Но было неловко просить его уйти. Федор кряхтел, собирался с духом, а потом выпалил:

– Мне тут часок одному побыть надоть, погулял бы ты, а?

Дмитрий с готовностью поднялся, и Федору опять стало неловко – снова обидел парня.

– Ты не спеши, приходи потом и ложись. Я уж тогда толковать не стану, коли надоть чего, ты сейчас спрашивай.

Гость помялся.

– Вообще-то я о многом хотел спросить, многое мне интересно.

Федор неопределенно помычал.

– А давно вы здесь работаете?

– Годов семнадцать.

– А в церковь всю жизнь ходили?

– Нет... Вообще не ходил, и сейчас-то не всегда заглядываю.

Федор сам не понял, отчего соврал парню – воскресных служб он никогда не пропускал.

– Значит, просто так сторожите? Объект и только?

Федор недовольно кашлянул, но ничего не сказал.

– А до этого чем занимались? – продолжал расспрос Дмитрий.

– Всяко было...

– Значит, вы просто подрабатываете к пенсии? – не унимался гость.

– Да какая же тут приработка?! Сторожу да мету... Себе в радость. При деле, опять же.

– Но за деньги?

– Да что тебе за дело до моих денег? – вспыхнул Федор.

Дмитрий смутился.

– Простите. Я сначала подумал о вас одно, потом... другое. Вы мне кажетесь очень интересным человеком. Я хочу понять. Долгая жизнь. Время было тяжелое, и революция, и война. Теперь до старости трудитесь и без денег.

– Да чего тебе понимать? Какая разница – за деньги, без денег! Это ты со своими молдаванами решай, а я уж свое порешил.

– Не понял.

– На что деньги? Ни жену не выкупить с того света, ни сына из тюрьмы... У меня сейчас другие беды.

– Какие?

– Топчусь на месте, росту никакого. Мира нет на сердце, одно утеснение...

Дмитрий осторожно присел на скамью.

– Какого роста?

– Никакого нет. Человек завсегда должен расти. И младенец растет, и начальник вверх стремится. А и старикам, и всякому возрасту свой рост надобен, иначе нельзя – беда иначе. Подвигаться надобно...

– Я не понимаю вас, – тихо сказал Дмитрий. – Чего вы от себя хотите?

– Подвига – просто сказал Федор.

– Подвига? Хотите героем стать?

– Может, даст Бог, пострадать придется. А то ни на что не гожусь. О грехах толком не молюсь, не каюсь – так, как бревно сухое...

Дмитрий слушал старика, затаив дыхание. Федор резко прервал монолог, вздохнул и, махнув рукой в сторону двери, тихо приказал:

– Ступай, погуляй часок.

Оставшись один, Федор принялся читать вечернее правило. Перекрестился широким крестом, поклонился в пояс и стал проговаривать про себя выученные наизусть слова молитвы. Он клал крестное знамение истово, тыкал с силой себя в лоб, словно призывая непослушную голову пробудиться для светлых мыслей. По плечам он бил сложенными троеперстно пальцами, норовя попасть туда, где в молодости красовались на его погонах унтерские лычки. Но не мог привести сердце в молитвенное состояние, опять лезли откуда-то воспоминания. На сей раз он вспомнил свое служение в Восточной Пруссии. Но не страшный бой, в котором был ранен в грудь, а пышнотелую Эльзу – дочь хуторянина, к которой бегало полвзвода. «Эх, да что же это за срамота! Никакого покаяния. Вспоминаю без сокрушения сердечного, наоборот, с усладой. Хоть оторви голову, да выбрось вместе с сердцем!».

Когда вернулся Дмитрий, он уже лежал под ветхим суконным одеялом.

– Постели фуфайку да пинжаком накинись, – приказал гостю и повернулся к стене.

Он досадовал и на гостя, и на себя: «Ишь, ему интересно! В одно ухо вошло, в другое вышло – и весь интерес. А мне смущение. Болтун старый. И молитва не пошла».

Федор понимал, что не в госте дело, а свои грехи не давали ему покоя, но не знал, что делать и как настроиться на покаянный лад. «Может, оттого и пустил парня, что не могу, яко подобает, покаяться?...».

Утром он не подал виду, что не спит, говорить с гостем не хотелось. А тот встал тихо, чтобы не потревожить его, надел башмаки, вылил в чашку оставшуюся с вечера заварку, немного добавил холодной воды из чайника и залпом выпил. Потом он что-то написал на клочке бумаги, выложил из сумки пакет и положил его на стол, рядом с молитвословом. Ступая на цыпочках, он подошел к двери, тихо открыл ее и неслышно ступил в сени. Звякнул засов, проскрипела наружная уверь. Некоторое время было слышно, как хрустит под ногами песок, насыпанный Федором третьего дня. Потом все стихло. «Славный парень, боится разбудить. Доброе сердце, не окаменеть бы, гоняясь за мазуриками...».

Был шестой час. Федор лежал, не вставая, без мыслей, без радости. Даже тревога ушла. «Словно куль с ватой, – подумал он. – Надо бы встать». – Ветер стих, громко чирикали воробьи. Грачей не было слышно. «Распогодилось. Должно, улетит... Чего он там намаракал?».

Федор поднес к глазам бумажку, подвинулся к окну, прочел, написанное ровным почерком: «Спасибо за гостеприимство. Желаю вам доброго здоровья и долгих лет». «Долгих, – вздохнул Федор, – куды дольше!». Рядом с молитвословом лежали пять рублей. «За пятерку он бы три дня в гостинице постоял. Добрейшая душа, надоть на их заказать сорокоуст о его здравии». В пакете лежал пирог-медовик и конфеты «Мишка на Севере».

Федор растрогался и всплакнул. Развернул конфету, но есть не стал. «Мишка-Мишка, скоро деду крышка», – прошептал Федор и вытер тыльной стороной ладони слезы.

* * *

День шел как обычно. Федор обмел паперть, подобрал на могилах мусор и две порожние бутылки из-под портвейна. Доделал корзину. Принялся, было, читать Псалтырь, но глаза скользили по строчкам, а ничего не складывалось, словно читать разучился – бежит буквенное плетение, узор и только, а в голову не входит. Федор вздохнул, отложил книгу и стал думать о Маланье.

Вражда у них была давняя. В молодости он хотел жениться на ней, но она не пошла за него. Он женился на ее подруге Анне, и Маланья с той поры ни разу не зашла в их дом. С Анной встречалась у себя, а его никогда не приглашала. Знала о Федоре все, ну и с соседями своими знаниями щедро делилась. Болтать она всегда была великая охотница. А сейчас, когда, казалось бы, и рассказать о Федоре нечего, либо осудит его (то не так сделал или не туда чего поставил), а коли он и на глаза не показывается, примется его старые грехи поминать да всякий раз и закончит: «Слава Богу, не вышла за него. Он бы и меня в могилу вогнал, а детей споил». И хотя Федор всякий раз сам попрекал себя тем же, но одно дело самому себя ругать, а другое – со стороны услышать. Сердился он на Маланью крепко.

В полдень прибежала Агафья, вызвала его наружу и стала рассказывать, что Маланья рыдает и говорит всем, что Федора хочет увидеть. А к ней-то не пускают никого.

– А нужен ты ей, повиниться хочет, – выпалила она. – Забыла вчерась покаяться, что тебя все злила да наговаривала всяко... Вот.

– Я зла не держу, – смутился Федор. – Вот только о ней думал. Ну, пойдем, сходим? Скажу ей, успокою. И на мне грех – обижал ее.

– Да не пускают-то к ней, говорю. Мне все нянечка Михеевна докладает.

– Ну, так пусть Михеевна ее на мой счет успокоит.

– Вот ведь... хорошо, – согласилась Агафья и, не раздумывая, побежала вниз в больницу. «Бегают чисто овца непорожняя», – усмехнулся Федор, глядя как Агафья, смешно семеня подкашивающимися толстыми ногами, сбегает вниз по угору.

Не успела Агафья скрыться за дощатым забором ближайшего палисада, как перед Федором возникла новая фигура – незнакомый мужичок в рваном клеенчатом плаще, мятых рабочих штанах и новых кедах. Он настороженно смотрел на Федора маленькими глазками. Федор взглянул на него и тут же отвел взгляд. Он увидел мутные водянистые круги с черными дырами зрачков, и ему показалось, что он заглянул в бездонную яму. Федор решил, что это пьянчужка из новых, и пошел в избу за стаканом. Он прикрыл за собой дверь, но дверь тут же отворилась. Такого прежде не было, пьяницы закон знали: сторожево жилье – запретная для них зона.

Незнакомец не только вошел, но еще и задвинул за собой засов. Федор сердито поглядел на вошедшего, не зная, обругать его или вытолкать из сторожки без слов. Пока он решал, что предпринять, незванный гость скинул плащ, оказавшись в грязной футболке. Он быстрым движением вытащил из штанов, подвязанных бельевой веревкой, мятый конверт и молча протянул его Федору.

Федор, с трудом сдерживая гнев, взял конверт, – и сразу понял, что в нем. Он сел на кровать, с трудом преодолевая боль в сердце. Неожиданно сильное чувство гнева и страха лишило его сил. Он часто дышал, голова стала подрагивать, крупная испарина выступила по всему лицу.

Человек смотрел на него, не мигая, и ничего не говорил. Потом он быстрым обезьяньим движением приподнял лежащую на ведре фанерку, зачерпнул кружкой воду и протянул хозяину.

Федор долго, судорожно глотал, но получалось вхолостую, вода в кружке не убывала.

– Вот, прохутился, однако, совсем, – пробормотал он.

Пришелец привстал, отобрал у Федора кружку, и, взяв ее за дно, резко наклонил ее. Вода плеснулась Федору в рот, мимо рта по ватнику, пролилась на колени. Федор жадно сглатывал воду, шумно сопел и далеко выпячивал губу. На сей раз кое-что проглотить удалось.

Гость налил вторую кружку, но Федор замотал головой, отвернулся и вытащил из незаклеенного конверта письмо. Узнав Колину руку, хрипло спросил:

– Как он там?

– Нормально, – ответил гость. – На УДО тянет. Может, скоро увидишь. Или не увидишь, – добавил он сощурившись.

Голос у него был резкий, с какими-то истерическими женскими взлетами.

– Куда тянет? – не понял Федор.

– Условно-досрочное. Раньше срока могут выпустить.

– Когда? – обрадовался Федор. Знать, сон вещий. И все воспоминания и тревога – к возвращению Коли. – Когда ждать-то его?

– Кто знает? Может, к октябрьским. Ты давай читай, не тяни.

Федор положил письмо на стол и наклонился, разглядывая знакомые каракули. Он испугался, что не сможет прочитать его, как не сумел давеча читать Псалтырь. Читал он, слава Богу, в свои годы, без очков. И сейчас буквы без труда складывались в слова.

Коля писал: «Дорогой отец! Много писать не могу. У меня все хорошо. Может быть, скоро увидимся. Дружок мой Володя расскажет тебе все. Ты ему дай за письмо двадцать пять рублей и еще тысячу. Я ему должен. Вернусь – отработаю и отдам. А если ему не дашь, мне будет плохо, может, совсем не свидимся. Прости меня. Твой сын Коля».

Федор прочел письмо, пожевал губами, вздохнул, прочел еще раз, разгладил листок рукой и снова перечитал. «Вон оно что! Деньги. Значит, и “папа”, и “твой сын” все ради денег. Так я, старый дурень, и думал... Деньги...».

Федор закрыл глаза и долго сидел, покачиваясь всем телом. Гость, прищурившись, наблюдал за ним. Он сидел, сгорбившись, настороженно высунув голову из высоко поднятых плеч, и был похож на сову, готовую броситься на зазевавшуюся мышь.

– За что он тебе столько должен? – наконец спросил Федор.

– Тебе дела нет. Прочитал – гони, – отрезал человек.

– Ты ж дружок ему. Отвечай отцу!

– Там все сказано, – «дружок» передернул плечами: то ли боксер перед противником, то ли иззябший воробей.

– Не говоришь – и у меня разговор короткий: нет у меня денег. За письмо дам, сколько сказано, а тысячи нет.

«Дружок» еще больше сощурился и медленно процедил:

– Там все написано: худо будет Кольке. Он сказал, что ты жмот, и можешь не дать, и что денег у тебя много. Смотри... Лучше дай!

Федор почувствовал, что задыхается от гнева. Ему хотелось броситься на этого тщедушного человека и задушить его, силы бы хватило. Но вдруг стало страшно за Николая. «Проиграл или ляпнул дружкам про его “тысячи”...».

– Завтра у меня именины, – пробормотал Федор.

Язык ворочался с трудом. Во рту было сухо. Он поднялся и набрал воды. Выпил на этот раз всю кружку в несколько глотков и, глядя на перекатывающуюся по дну серповидную длинную каплю, закончил:

– Мне батюшка даст восемьдесят пять рублей, я тебе их отдам.

– А остальные? Слышь, отец, не торгуйся, мне ночью на поезд. Тебе полдня сроку, где хочешь ищи. Занимай, отнимай, из чулка доставай – не мое дело. Ночью срок.

Он бесцеремонно отодвинул старика к печи и прыгнул на кровать, по-кошачьи перевернувшись в воздухе. Сбросив на пол кеды, он поелозил спиной по кровати, посучил по одеялу короткими кривыми ногами и, радостно взвизгнув, потянулся.

Что-то странное произошло с его лицом. Федор не сразу понял, что это улыбка. Детской радостью сверкнули глаза – на федоровской кровати лежал мальчишка, набегавшийся, уставший от долгих шалостей, наконец получивший возможность отдохнуть от собственной неутомленности. «Вот ведь, и его мать родила. Сопляк, а страху нагоняет». Но в тот же миг мальчишечье лицо сморщилось и помрачнело, словно молоко подернулось складками желтой пенки. Гость хмуро посмотрел на хозяина и, резко вскинув подбородок, заклокотал:

– Давай, батя, шукай. Не тяни кота... – он выдал долгую матерную тираду, шмыгнул носом и отвернулся к стене.

* * *

Песок скрипел под ногами Федора, часто стучал по сухому телеграфному столбу дятел, низко пролетел к аэродрому четырехкрылый кукурузник. Медленно плыло над головой большое белое облако, похожее на руину храма с овальным проемом посередине, сквозь который широким раструбом бил солнечный луч. Он ярко осветил золотистые стволы сосен с янтарными подтеками живицы, зеленые могильные холмики и трех мужиков. Двое сидели на могилах, а третий громко балагурил, стоя на длинных хлипких ногах, то склоняясь к приятелям, то выпрямляясь неестественно резко. Руки его ходили ходуном, и был он похож на заводного паяца, пляшущего в огромном прозрачном конусе, заполненном огненным золотым эфиром. «И что мы за народ! На могилах скачем! Ни страху, ни уважения к предкам», – сокрушался Федор.

На стакане в руке сидевшего на могиле мужика сверкнул солнечный зайчик. Такой яркий, что Федор зажмурился. «Не успел осудить, как мне, дураку, вразумление. В собственном глазу бревна не вижу. Пора бы вынуть, сколько лет на могиле жены не был». Похоронили ее вместе с его матерью в деревне, да и остались ли хоть холмики на могилах – деревни и следа нет...

Он остановился около двух уцелевших надгробий из черного мрамора. Были они одинаковыми, гладко отполированными, со множеством сколов и странным ажурным навершием – подобием готического свода, из которого торчали обрубки арматуры. На них крепились когда-то кресты. На одном памятнике было выбито: «Надворный советник Ярцев Михаил Варсонофиевич». На другом: «Жена надворного советника Ярцева Домна Моисеевна». «Кто такие? И за что им такая честь? Почти все перебито, а эти памятники стоят. Знать, хорошие люди, вот Господь и сохранил. А может, и нехорошие... Может, за имя женино не сломали, в честь индустриализации. А то “стукнули” бы, что “домну” ломают, и припаяли бы за вредительство!».

Федор усмехнулся и стал следить за белой капустницей, порхавшей над могилами. Она пролетела между черных камней и, скача по воздуху, устремилась вверх, скоро затерявшись в сосновых ветвях.

Федор прошел по кладбищу против своего обычного покосного хода и стал спускаться вниз, к реке. Деревянный тротуар резким пришаркивающим стуком далеко оповестил о его походе. Чья-то кудлатая голова высунулась и тут же исчезла за высоким забором. Звонко засмеялся ребенок, протарахтел за углом мотоцикл.

Переходя дорогу, Федор пропустил автобус, отсалютовавший ему клубом густого сизого дыма. Незнакомая молодая женщина поздоровалась с ним и прошла мимо, опустив низко голову. Пробежал мальчишка, гоня перед собой облепленную грязью камазовскую крышку.

Перед домом бывшего купца Мясоедова Федор остановился и несколько раз машинально поерзал ногой, поднимая пыль. На этом месте семьдесят лет назад он нашел золотой империал. О своей находке он никому не сказал и пять лет держал монету в старом валенке. Несколько раз

на дню он любовался своим сокровищем, прячась от матери на повети. Золотая монета приятно холодила ладонь, тускло посверкивал бородатый профиль императора. Кружилась голова от мысли о том, что на этот желтый кружок можно купить все, что душе угодно. Однажды вернувшись с покоса, он узнал, что мать отдала его детские валенки вместе с заячьей шубкой какой-то нищенке...

Потом была глиняная свинья с кривой дырой на спине. В эту свинью он бросал копейки и плотно сложенные рубли. Свинья дожила до сберкнижки, радуя его постоянной прибавкой веса и глухим звяканьем при потряхивании. С каким сладострастием саданул он ей по спине отцовским кузнечным молотом! На изрядную кучку из бумажных и металлических денег он водрузил самый большой осколок – половину свиной головы с красным пятачком и кривым желтым клыком, торчавшим из отбитой пасти. А потом он долго жалел, что разбил копилку, и даже собрался вылепить такую же, но не сумел...

А после смерти жены им овладела невыносимая тоска. Он вдруг почувствовал себя той самой свиньей, набитой деньгами. От каждого шага звенела в нем медь и шуршали бумажки, сильные рези терзали живот. Сколько жутких ночей провел он, катаясь по кровати с закушенной зубами подушкой, с ужасом прислушиваясь к грозному хрюканью, вырывавшемуся из глубин сотрясавшегося живота. Чьи-то грубые пальцы мусолили бумажки, перебирали монеты, рассовывая их по кишкам. Он не мог рассказать о своих болях, боясь, что его сочтут сумасшедшим. Да и сам он не был уверен, что не потерял рассудок... Вот тогда-то он и пришел в церковь. Батюшка сказал, что его надо отчитывать, только сам он не возьмется. Власти не позволяют отчитывать.

А нужно Федору порвать со старой жизнью. Победить грех сребролюбия. Совершить какую-нибудь очень большую жертву, тогда, Господь, возможно, и исцелит его.

Федор послушался: отдал свой дом вдове-погорелице Анне и перебрался в церковную сторожку. Не прошло и недели, как боли в животе и внутреннее хрюканье прекратились.

Подойдя к своему дому, Федор остановился и, оглянувшись по сторонам, приладил глазом к дыре в заборе. По двору семенила младшая Аннина внучка. Подошла к корыту и наклонилась, ухватившись за борт, смешно задрал голую попку.

В огороде был завидный порядок. Федор удивленно посмотрел на окученную картошку: «Надо же, и мою окучила!». Ровные бороздки бежали вдоль забора в дальний угол к колодцу. Федор посмотрел на колодезное колесо (таких теперь ни у кого в городе не осталось) и почувствовал зуд в руках. Ему захотелось погладить этот большой, отполированный за целое столетие деревянный круг, крутануть его, вытащить тяжелое ведро и упасть лицом в ледяную вкусную воду. Эх, какая вода у него! Первые годы жизни в сторожке он нет-нет да и сходит с ведерком к родному колодцу. Тосковал не по дому, а по воде.

Федор пошамкал пересохшими губами и решил войти во двор. Но в это время из избы вышла босая Анна. Она молча подняла на руки внучку, звонко поцеловала ее в щеку и усадила рядом с собой на скамейку. Но та не хотела сидеть и все норовила сползти на землю. Федор постоял несколько минут, отвернулся и побрел прочь.

* * *

В больнице его никто не остановил. Он прошел мимо старух в синих байковых халатах, режущихся в «дурака», заглянул в раскрытую дверь какой-то палаты. Там сидела женщина в таком же байковом халате с газетой в руках. Она поглядела на него поверх очков и отложила газету.

– Вам кого? – спросила она и поднялась с табурета.

– Маланью, – ответил Федор. – Помирающую, – добавил он для ясности.

Женщина вышла в коридор и кивком пригласила его следовать за собой. Старухи отоврались от карт и с любопытством уставились на посетителя.

В палате, в которую его ввели, стояли четыре кровати. Сначала Федор ничего не понял – кровати были пусты. Женщина показала на ту, что стояла у окна, и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. Федор подошел вплотную к кровати и тут только увидел голову Маланьи. Он скользнул глазами по плоско лежащему одеялу, силясь понять, куда же подевалось тело. Через несколько мгновений у Маланьи дрогнули веки, медленно открылись глаза.

Федор придвинул ногой поближе к изголовью табурет и тяжело опустился на него.

– Спасибо, что пришел, – голос Маланьи был слабый, но чистый.

– Ну, как ты? – спросил Федор и положил руку на торчавший из-под одеяла матрац.

– Прости меня, Федор, – веки закрылись, и из правого глаза выкатилась большая круглая слеза. Федор смотрел, как слеза юркнула вниз по щеке, оставив темную полосу на иссохшей белой коже.

– Бог простит, а я и подавно, – сказал он и, взяв с перекладины полотенце, осторожно промокнул Маланьину щеку.

Та с благодарностью посмотрела на Федора:

– Я ведь тебя любила. Всю жизнь.

Федор от неожиданности закашлялся:

– Ну, девка, какая такая любовь?

– Не знала, что ты такой упрямый. Думала, походишь, еще попросишь, позовешь за себя. Я ж была девка нецелованная, надо было скромность выказать, чтоб не бежать по первому зову. А ты раз – и женился. Да еще и на подружке моей.

Федор изумленно посмотрел в подернутые белесой пеленой глаза умирающей:

– Дак чего ж ты... Ну, девка.

Он замахал обеими руками и, чуть не поперхнувшись, выпалил:

– Чего о том теперь толковать, о другом теперь думай.

– Моя вина, – всхлипнула Маланья.

– Да и не без моей.

– Кругом дура. Вся жизнь наперекосяк, ничего хорошего не видела, ни за кого не хотела выходить.

– А со мной еще хуже бы было, я ведь не подарок.

– Может, со мной другим бы был...

– Да что ты, слуханное ли дело, – начал сердиться Федор. – Раньше не могла сказать?!

– Нельзя, у вас детки...

– Так до детков.

– До детков обида жила... И потом обида.

– Ну, знаешь, – Федор привстал и тут же снова сел. – Ты за этим меня позвала?

– Повиниться хотела.

– Ну, дак повинилась, а теперь молчи. На пороге уже... а все глупое городишь. Разве можно? Кака теперь любовь?

– Хотела, чтоб ты знал. Ой, Федор, страшно-то как...

– Ничего. От этого не уйти. А чего жалеть?! От тебя, вон, и не осталось ничего...

Он подумал, что странно как-то утешает, и добавил:

– Я за тобой, долго не задержусь.

Маланья помолчала, голова ее стала легонько подрагивать.

– Икону-то Николая Угодника – Николке твоему, я Агафье наказала.

– Спасибо на том.

Маланья беззвучно плакала. Левый глаз был закрыт, а из правого выкатывались частые бусины слез.

– Сами, сами во всем виноваты, – сокрушенно вздохнул Федор. Нечего ни на людей, ни на жизнь пенять. Все беды сами себе натворили, и некого винить... – он снова мазнул полотенцем по Маланьиной щеке.

– Родителей не почитали, вот и нам от детей то же. Ты не горюй, у тебя хоть сирот не будет. Сирот оставлять плохо, а и неблагодарных детей – тоже радость не велика.

Он подумал, что вовсе не о том говорит с бездетной старухой, махнул рукой и почувствовал, что и по его щеке бежит жаркая струйка.

* * *

Он не помнил, как дошел до берега, сколько просидел, глядя на бесшумно текущую реку. Он любил это место. Справа река широкой водой входила в море, вдали у грузовой пристани стояли длинные баржи-лесовозы. По бонам бежал с багром на плече сплотчик. Пронзительно прогудел катер и, описав дугу, быстро поплыл к пристани.

Федор вспомнил о деньгах, которые ждал Николкин дружок, и принялся подсчитывать, сколько сможет собрать до осени. Сено, картошка да корзины... Получалось так, что тысяча набиралась. «Велю ему в сентябре приехать», – успокоился Федор и решил, что пора домой, но идти не хотелось.

Краешек солнца скрылся за кромкой горизонта, по морю и по реке разлилось багряное зарево. Плавающие облака, казалось, норовили прыгнуть вслед за солнцем в море. Золотисто-красные всполохи побежали от моря вверх по реке до того самого места, где сидел Федор. Через полчаса небесный багрянец постепенно начал гаснуть. Вода потемнела и уже слева вверху чернела маслянисто и грозно. «Ишь, наладился до осени собирать. А сколько мне жить-то осталось? С утра помирать собрался, да и к вечеру не передумал. Надоть вслед за Маланьей идти, чтоб не спужалась одна. Вот ей и будет со мной загробная свадьба...».

* * *

В то время, когда Федор подсчитывал будущую выручку, на кладбище проходили другие подсчеты. Федоров постоялец, разбуженный криками, быстро определил, что гуляют не без напитка. Через несколько минут он сидел посреди гуляк с наполненным до краев стаканом. Мужики щедро угощали его, расспрашивали о Николае. Местный Николкин дружок, Ленька Дранов, тыкал гостю в нос просмоленный большой палец и запальчиво выкрикивал:

– Колька – во! Во – парень!

Потом он погрозил кулаком в сторону сторожки:

– Если бы не старый хрыч, мы бы сейчас с ним тут сидели.

И заходили под старыми кладбищенскими соснами рассказы о Федоровской скупости и о его несметных тысячах. Гость слушал молча, а когда Ленька, распаляясь, крикнул «Сто тысяч!», коротко спросил:

– Где?

– Что – где? – не понял Ленька.

– Где он их держит.

– Известно, где. В матраце.

– А может, под полом или в печке, – добавил другой Николаев приятель.

Гость громко скрипнул зубами и в два глотка осушил стакан.

* * *

Утром Агафья спешила поздравить Федора с именинами.

Дверь сторожки была распахнута, на крыльце валялись осколки кирпича и куски грязной серой ваты. Половые доски разворочены, на месте печки груды кирпичей, растерзанный матрац брошен на пол.

На кровати лежал Федор. Лицо его было покойно и даже торжественно. На правом виске темнела небольшая, с пятак, ссадина.

* * *

Похоронить Федора позволили здесь же, на старом кладбище, неподалеку от его сторожки. Хоронить его пришел весь город. Много было зевак, не знавших его. Их привлек слух об убийстве из-за больших денег.

После отпевания и краткой литии у могилы долго стояли молча. Никто не плакал, речей не было. И только тогда, когда уже собирались опускать гроб, Анна, которой Федор отписал дом, тихо сказала:

– Не было у него никаких денег. Все погорельцам отдал, я и раздала их.

Потом добавила Агафья:

– Он и жалования не брал. У него закон был: пока носят ноги, кормиться от рук своих. Что за корзины выручал, на то и жил.

Никого эта весть и не удивила. Получилось, будто об этом все знали.

А когда стали засыпать могилу, вдруг заволновались птицы. Сотни грачей поднялись над кладбищем. Со стороны аэродрома прилетела огромная стая. Птицы носились, громко крича, над верхушками сосен. Несколько грачей подрались из-за места на высокой сосне над самой могилой.

Агафья испуганно закрестилась, приговаривая:

– Его птица. Стратилат грачами богат. Ишь как его провожают.

Потом добавила (народ-то нецерковный):

– Федор Стратилат нонче. Именинник наш Федор, на Стратилата родился. – Но и это объяснение мало кто из народа понял.

Агафья накануне вечером напекла блинов и сварила две огромные кастрюли киселя. Тем и помянули тут же. Потом, после того, как разошелся народ, посидели с батюшкой. Помянули и кутьей, и полным обедом.

Батюшка был грустным. В конце даже всплакнул:

– Я ведь его не исповедал. А он просился, чувствовал, что уйдет. На мне грех, буду поминать сугубо.

Вечером постоянные участники кладбищенских радений помянули Федора по заведенному обычаю. Человек двадцать расселись на густо поросших травой могилах рядом с новой, голой. Пили долго, молча. Кто-то все время хрипло вздыхал, кто-то заметил, что не у кого теперь и стакан попросить. Кто-то сказал, что некому будет траву косить... В конце «поминок» стали бить Леньку Дранова – того Колинова друга, который рассказал убийце о Федоровых тысячах. Били не зло, но усердно. Избитого оставили на Федоровой могиле. К утру Ленька оправился и побрел домой.

А еще через два дня на Федоровой могиле появился крест – большой восьмиконечный. Агафья сказывала, что накануне ночью видела Леньку. Будто бы, он тащил на спине что-то большое. Но что – не разглядела.

1986 г.

Бедный Славик



– Какие же мы папуасы! – громко произнес пожилой мужчина, умильно разглядывая двойняшек, подбежавших к сидевшей рядом с ним женщине. Они были в одинаковых розовых платяцах и белых шляпках.

– Бабушка, мы уже причастились и запивочки выпили, – сообщили они хором.

– Почему это мы папуасы? – обиделась бабушка и сердито посмотрела на соседа-грубияна.

– Да не мы и не ваши красавицы, – заторопился тот успокоить ее. – Это ведь счастье – иметь таких девочек. С детства в церкви, причащаются...

В это время из храма выбежало не менее полусотни детей. Одна за другой выходили молодые мамы с грудными детьми на руках.

– Я смотрю на ваших девочек и на этих деток, – продолжал нарушитель бабушкиного спокойствия, – и думаю: «До какой дикости мы дошли, что депутатам и правительству приходится принимать закон о запрещении называть детей непотребными... нет, не именами, а сатанинскими кличками. Это кем нужно быть, чтобы назвать младенца Люцифером или Демоном! Какими-то “хобитами” называют, “треками”, набором цифр...

– Конечно, это ужасно, – вздохнула бабушка. – Но и раньше дикости было немало. Называли же детей и Днепрогэсами, и Магнитками, и Отюшминальдами⁵. У нас в санатории Вилен⁶ был, Рэм⁷ и даже Тракторина Кондратьевна. Царство им Небесное! Хорошие были люди, а как их в церкви поминать?

– Это хоть и от бескультурья, но все же раньше давали имена в честь великих людей и трудовых подвигов и достижений. А сейчас – в честь нечистой силы.

Бабушка печально улыбнулась:

– Вы правы. Но по причине узаконенного безбожия у каждого поколения была, как вы выразились, своя папуасность, да простят меня жители Папуа и Новой Гвинеи.

– Я тоже прошу у них прощения.

⁵ От «Отто Юльевич Шмидт на льдине».

⁶ От «Владимир Ленин».

⁷ От «Революция, Энгельс, Маркс».

– И у меня есть своя история, из этой же области. Раньше на побережье от Туапсе до Адлера был всего один храм. Вот этот, сочинский, Михаила Архангела. А сейчас на этом пространстве около сорока церквей, не считая часовен. Меня в этом храме крестили в пять лет. Я все помню. Была война, и его только что открыли. Народ бросился крестить детей. Двадцать лет негде было крестить. Бабушки привели внуков и внучек. Сами-то они были крещены до разорения церквей. Мужчины на фронте. Я помню огромную толпу пожилых женщин и детей. Среди них было только два старика. Крестили большими группами. Я помню, как батюшка кадил, и я оказалась в облаке. Сквозь него падал широкий луч света, и мне казалось, что я на Небе.

Моя бабушка меня потом иногда водила в церковь, и я причащалась. А уже когда в школу пошла, не до церкви было. Отец погиб на войне, мать сначала молилась об его упокоении, а потом перестала. Времена изменились, на верующих косо смотрели. Мама в санатории работала, и замполит ей прямо сказал: «Еще раз в церкви тебя увидят – уволю». Бабушка умерла, водить в храм стало некому... Так я и росла.

Потом молодость, институт, работа, замужество. Жила без Бога, но когда сыночек родился, понесла его крестить, сюда же, в Михаило-Архангельский храм. Когда метрику выписывали, записали его Русланом. Я с детства почему-то это имя полюбила. Сказку пушкинскую «Руслан и Людмила» сто раз перечитывала. Крестной матерью была моя подруга Надежда. Меня не пустили в храм, я ждала во дворе. Когда сыночка вынесли, я к нему, как к Русланчику обращаюсь, а Надежда говорит: «Батюшка сказал, нет такого имени в святцах. Он крещен Славиком». Ну, Славик так Славик, а только и я, и все звали сыночка Русланчиком. Я ведь его ни разу потом в церковь не водила. Окрестила – и забыла дорогу в храм.

И вот мой Русланчик закончил консерваторию, взяли его в хороший оркестр скрипачом. Как-то вечером звонит мне: «Мама, я стал ходить в церковь. Как меня зовут по-православному? А то батюшка говорит, что нет такого имени – Руслан». А я и не знаю. Спрашиваю Надежду: «С каким именем его крестили?». Говорит: «Славик». А какой Славик? Есть и Вячеслав, и Ярослав, и Владислав, и Святослав... Звоню сыну, говорю, не знаю толком. Он к своему духовнику: «Мама не помнит». Тот узнал, что Русланчик родился десятого сентября, говорит: «Ближайший святой – Александр Невский». И стал его причащать как Александра. Я этого не знала. Он в Москве, я в Сочи, а потом вообще в Германию уехал. Здесь ему копейки платили, а там – сами знаете: в Европе в хороших оркестрах и заработки хорошие. Живет в своем доме, всего вдоволь. Только грустит очень. В нашу церковь ездит по воскресеньям за пятьдесят километров. Просит жену вернуться в Россию, а та – ни в какую...

А я после того с ним разговора тоже стала в храм ходить. Вспомнила, как мне хорошо было в детстве в церкви. И будто вернулась в родной дом. Духовник у меня появился. Рассказала я ему эту историю со Славиком. Спрашиваю: «Мне-то как о нем молиться? Какое имя в записках писать?». Батюшка говорит, самый близкий Славик к его дню рождения – Владислав. Был такой князь, кажется, сербский. Его день седьмого октября. Стала я праздновать этот день. Накануне звоню сыну, говорю: «Слава Богу, теперь знаю точно, какой ты Славик. Ты Владислав, и именины у тебя завтра – седьмого октября. Поздравляю!». А он: «А я уже почти год себя Александром Невским считаю». «Посчитал – и будет. Теперь точно установили, что ты Владислав. Он тоже князем был. Только не нашим, а сербским».

Вот такие мы были папуасы: ничего о вере не знали. И даже имени своего толком не могли выяснить. А что с моим сынком самое смешное, так это то, что в Германии он со своим именем (по паспорту) намучился. Когда спрашивают, как его зовут, отвечает – «Руслан». А ему говорят: «Знаем, что русский. Звать-то тебя как?». А по-немецки «Русланд» значит «Россия». Вот немцы и думают, что он им сообщает, что русский.

2016 г.

Панечка



УЗИ показало, что будет девочка. Девочку и ждали. Бабушки с обеих сторон задали Валентину детской одеждой на год вперед. Слава Богу, не на два и не на три! Если распашонки и ползунки для младенцев одинаковы и для девочек и для мальчиков, то кофточки и шапочки с вышитыми бабочками и цветочками определенно предназначались для дочери.

Но родился мальчик. Как там УЗИ не разглядело будущего защитника Родины – не известно. Говорят, такое случается нередко. Но известно одно: отец новорожденного, Виталий, даже не пытался скрыть радость перед женой, собственной матерью и тещей. Те мечтали о девочке, и это служило поводом для ссор и бесконечных выяснений отношений с женской половиной семьи. А поскольку мужскую половину представлял лишь Виталий (мать его была разведена, а теща вдовой), то появление еще одного представителя сильного пола отец воспринял как пополнение в виду грядущих битв.

Битвы не заставили себя ждать. Начались они с выбора имени. Мальчик родился девятого августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеймона. Для отца было ясно, как назвать сына. Но жена с тещей не просто воспротивились, а стали называть его Сашенькой, в честь отца Валентины и покойного мужа тещи. Мать Виталия не возражала. В честь бросившего ее супруга она внука ни за что бы не назвала. Женская солидарность возобладала: Саша так Саша. Ну не Пантелеймон же!

– Где ты видел Пантелеймонов?! – гневно увещевала Виталия теща. – Во всем городе не сыщешь. Он же не монах!

– Да его в школе задразнят, – вторила ей Валентина. – Будут обзывать Пантелей-Барма-лей. Или еще хуже.

– Куда уж хуже? С чего ты взяла, что его будут дразнить? Может быть, он будет самым уважаемым в классе, и никто не додумается до твоей дразнилки, – возмутился отец.

– Ты что, забыл? В школе у всех были клички. Фамилии переделывали. А уж на такое имя дразнилку даже ленивый придумает: «Пантелей, пивка налей». Или: «Пантелей, заберись на мавзолей».

– Не знал я за тобой такого поэтического таланта. Почему тебе глупости приходят на ум?! Наоборот, будут говорить «Пантелей – всех смелей». Или: «Пантелей, кровь за Господа пролей!». Он же назван в честь великомученика.

– Еще не назван, – огрызнулась Валентина и притихла.

От последней придумки мужа ей стало не по себе. Особенно когда он сказал, что не только браки совершаются на небесах, но и имена даются не нами, а святыми, в день памяти которых родился ребенок. Валентина знала точно, что их с Виталием брак свершился на небе. Она много лет молилась Николаю Угоднику о даровании ей верующего мужа: верного, любящего, непьющего, работающего. Такого и послал ей великий угодник Божий. Подруги ей завидовали. Даже у матери не было причин быть недовольной зятем. А уж она-то каждое его действие, как говорится, рассматривала под микроскопом. И вдруг такая жаркая ссора!

Теща заявила Виталию, что он фанатик, не думающий о будущем сына, и что если он не желает почтить память ее покойного мужа, назвав его именем внука, то она больше не переступит порога их квартиры и никогда не станет им помогать.

Своего покойного тестя Виталий никогда не видел по причине того, что тот ушел в мир иной задолго до знакомства с Валентиной. Тещино упрямство и постоянное вмешательство в его семейную жизнь он выносил с трудом, поэтому не очень испугался обещанной перспективы. Теща же исполнить угрозу не торопилась. Она постоянно находилась при внуке и демонстративно сюсюкала: «Ах ты мой Сашуля, Сашенька, мой красавчик ненаглядный. Твой злой папка хочет тебя назвать каким-то “пантюхом”. Ну как ты его будешь называть ласково, уменьшительно? Пантя?», – торжествующе вопрошала она, грозно глядя на зятя.

Теща нередко оставалась у них ночевать. Выносить это было непросто. Валентина сначала обрадовалась возможности отдохнуть и даже иногда вечером сбегать к подругам. Но вскоре и она стала тяготиться постоянными укорами матери. Все-то она делала не так, как положено: и кормила неправильно, и пеленала плохо, ни стерильности в доме, ни порядка... Мать не позволила крестить внука до сорокового дня, придумывала всякие отговорки: то жара стоит африканская, то какую-то эпидемию объявили, то батюшка, которого она почитала больше прочих, ушел в отпуск.

Наконец Виталий не выдержал. Теще было приказано не появляться в их доме до Рождества (почему до Рождества, он и сам не понял). Валентину же в ближайшее воскресенье он подвел к их общему духовнику и рассказал о ее нежелании назвать сына Пантелеймоном. Батюшка с недоумением выслушал рассказ Валентины о будущих дразнилках, улыбнулся и перебил ее: «Меня тоже дразнили. И били всем классом за то, что я с матерью ходил в церковь. Если будут дразнить твоего Пантелеймона, пусть постоит за имя своего великого святого. Ты, мать, *убоялась, иде же не бе страх*⁸. Ступай с Богом и благословляю поскорее крестить наследника».

Виталий подумал, что разногласие преодолено, но не тут-то было. На Валентину что-то нашло. Она объявила это благословение «частным мнением» и сказала, что покрестит сына в другом храме: «Никакого Пантелеймона.

Только Александр». Виталий не знал, что предпринять. Хороша православная подруга жизни! Не только воля мужа, но и благословение священника ничего для нее не значат. Он и лаской пытался ее урезонить и строгостью:

– Что теперь, расходиться из-за твоего упрямства?!

– Разводись, если хочешь! Это твоя идея. А я только хочу уберечь сына от издевательств. Дети такие жестокие! Ты что, не видишь, что с каждым годом становится все хуже и хуже?! Пусть хоть из-за имени его не будут мучить.

Виталий покачал головой:

– Ну и ну. Ты как глупая Эльза из немецкой сказки. Несла молоко и размечталась о будущем сыночке. Испугалась того, что он заболит и умрет, споткнулась, пролила молоко и рыдает о сыночке, которого нет, а может и не будет.

– Ах, я глупая?! Ну и разводись, если ты такой умный!

⁸ Ср.: Пс. 13, 5.

Не известно, чем бы закончилась эта ссора, если бы их сын не заплакал. Сначала он просто хныкал, но вскоре стал кричать и никак не мог успокоиться. У ребенка поднялась температура. В десять вечера – тридцать девять, в полночь – сорок. Вызвали «скорую помощь». Врач долго осматривал маленькое тельце, заглянул в горло, прослушал легкие. Сделал какой-то укол. Сказал: «Не уверен, что поможет. Возможно, это какая-то инфекция. Если до утра не станет легче, вызывайте неотложку и везите в больницу».

– Это ты накаркал со своей немецкой Эльзой, – разрыдалась Валентина.

Она стала обзванивать подруг, нет ли у них какого-нибудь замечательного врача. Такого ни у кого не нашлось. Были лишь знакомые молодые – недавние выпускники медицинских институтов без особой практики.

Виталий оставил жену у телефона, а сам зажег свечу и стал молиться. Иконостас у них был скромный: венчальные иконы Спасителя и Богородичная Казанская, да несколько маленьких бумажных иконок: «Всецарицу» привез ему с Афона приятель, ее он всегда носил с собой в нагрудном кармане, Николая Угодника привез тот же приятель из паломнической поездки в Бари. Была у Виталия и иконка целителя Пантелеймона. Он стал читать акафист Казанской и прислонил к ее иконе иконку великомученика Пантелеймона. Читал он вслух, но негромко. В соседней комнате был слышен голос Валентины. Потом она замолчала, и раздались громкие рыдания. Он никак не мог сосредоточиться на словах молитвы. По несколько раз перечитывал одно и то же место. Закончив акафист, Виталий долго стоял, про себя повторяя: «Пресвятая Богородица, исцели нашего сына».

Догоравшая свеча отбрасывала тень на иконы. На маленькой иконке, да еще и в полумраке, трудно было разглядеть лик святого, но Виталию показалось, что целитель Пантелеймон смотрит на него печально и с укором.

– Исцели нашего сына Пантелеймона, Матушка Царица Небесная! – проговорил он в полный голос.

В этот момент свеча погасла. Виталий взял новую свечу и иконку Пантелеймона. Поставив их на пеленальный столик рядом с кроваткой сына, зажег свечу и опустился на колени. Вдруг услышал, как за его спиной рухнула на пол Валентина. Он испугался, что та потеряла сознание, но нет – жена стояла на коленях с низко опущенной головой и тихо всхлипывала.

Их сын прерывисто дышал и жалобно постанывал. Виталий несколько минут прислушивался к его дыханию, потом поднялся с колен, склонился над кроваткой и пощупал взмокшую от пота головку. Ему показалось, что она уже не такая горячая. Он перекрестился и сделал несколько земных поклонов. Валентина последовала его примеру и вдруг неожиданно прильнула к нему и быстро проговорила: «Молись, молись Пантелеймону. Он тебя услышит».

Виталий сделал еще один земной поклон. Оглянулся на жену. Та смотрела на него с отчаянием и мольбой. Так смотрят только на того, кто может действительно помочь. Виталий тяжело вздохнул. Он почувствовал сильнейшее напряжение всего своего существа: еще минута – и душа выпорхнет из тела. Говорят, что хирурги, делая операцию на сердце, не находят в нем души. Он же ощутил ее трепетное биение и в сердце, и в голове, и во всем теле и подумал, что Господь услышал его молитву и исцелит сына, но его, Виталия, заберет к Себе. Он еле устоял на ногах и с трудом произнес:

– Молись вместе со мной. Повторяй: «Господи помилуй нас, грешных! Святой великомучениче и целителю Пантелеймоне, прости нас за то, что оскорбили тебя неверием»...

Валентина все повторила вслед за мужем. Виталий посмотрел на нее с тревогой и продолжил:

– «Оскорбили тебя неверием и нежеланием дать твое имя нашему сыну».

Он снова остановился и посмотрел на жену. Валентина и эти слова повторила без запинания.

– «Исцели нашего сына Пантелеймона».

Валентина повторила и, как показалось Виталию, произнесла имя того, кому молилась, с особой горячностью.

Виталий не смог сдержаться. Он прижал к груди голову Валентины и стал целовать ее в лоб, приговаривая: «Умница. Умная головка. Эта головка все понимает».

Валентина плакала. Виталий тоже не мог сдержать слез. Он почувствовал, что больше не может стоять. Ноги его подкосились, и он упал на диван. Жена села рядом. Он обнял ее за плечи и с горячей уверенностью произнес:

– Все будет хорошо. Целитель Пантелеймон исцелит нашего... Панечку.

– Вот ты и придумал, как его ласково называть, – Валентина улыбнулась и посмотрела на него, как прежде кротко, с любовью.

Они долго сидели, обнявшись, прислушиваясь к дыханию сына. Оно с каждой минутой становилось все тише и ровнее. Слушали, боясь пошевелиться. Внезапно Валентина вскочила и вскрикнула: «Он перестал дышать!». Виталий тоже поднялся и подошел к кровати. Сынок лежал с высвобожденными из пеленок ручками, смотрел вверх и улыбался во весь рот. Валентина потрогала головку и зарыдала:

– Нет температуры! Жара нет!

– Только не говори, что это укол сделал.

Виталий погладил жену по голове, словно маленькую девочку, сделавшую что-то очень хорошее, перекрестился и медленно с чувством произнес:

– Благодарим Тебя, Господи! Благодарим тебя, святой великомученик и целитель Пантелеймон! – Потом взял жену за руку. – Ну посмотри на нашего сынка – какой же он Саша?!

– Да, – всхлипнула Валентина. – Чистый Пантелеймон.

2016 г.

Крестники



У меня есть крестники – семилетняя Маша и Леня пяти лет. Они живут в Сочи. Видимся мы редко по причине того, что живу я в Петербурге, но по приезде в Сочи первым делом знакомлюсь с их последними подвигами и высказываниями на самые разные темы. Я не устаю удивляться умению этих детей рассуждать и видеть то, что скрыто от взрослого человека.

У Маши два брата: Леша и Коля. Скоро будет еще либо братик, либо сестричка. Мама не спрашивает докторов о поле будущего ребенка: «Кого Бог подарит, того и будем любить». А в семье Маши все очень любят друг друга. По воскресеньям всей семьей ходят в церковь и причащаются. Вернувшись домой, дети на некоторое время оставляют шалости и беганье по участку. Мама, папа или Маша читают книжки и ведут беседы о празднике и о том, что слышали на проповеди. Живут они в своем доме на краю леса, где до поздней осени собирают грибы. В их саду растут персики, яблоки, орехи и хурма. Есть даже несколько чайных кустов. Папа – большой мастер приготовления чая. За чаем в их доме часто собираются гости. Перед чаепитием или трапезой все молятся. Если по какой-то причине начинают молиться без Коли, то из детской или из ванной раздается громкий плач – Коля врывается в столовую и требует помолиться снова. Молитва – его любимое занятие. Если он чем-то расстроен и безутешно плачет, успокоить его можно только предложением помолиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.